

Розінові

Читайте в серии:

Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина

Книга 1. Лицо неприкосновенное

Книга 2. Лицо привлеченное

Книга 3. Перемещенное лицо

Полное издание трилогии

•

Трибунал

*Брачная комедия,
судебная комедия и водевиль*

•

Москва 2042

•

Монументальная пропаганда

•

Замысел

•

Путем взаимной переписки

•

В стиле Андре Шарля Буля

•

Малиновый пеликан

•

Автопортрет

Войнович

Автопортрет



Москва
2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В61

Оформление серии — *Андрей Сауков*

Фотография на обложке — *Валерий Плотников*

Автор-составитель Именного указателя *Урсула Хайде Фёлькль*

Войнович, Владимир Николаевич.
В61 Автопортрет / Владимир Войнович. — Москва : Издательство «Э»,
2017. — 912 с. — (Классическая проза Владимира Войновича).

ISBN 978-5-699-92185-0

«Изобразил ли я себя таким, каков есть на самом деле? Не знаю. Большинство людей имеют слабое представление о своей анатомии. А тем более о своих физических, умственных и душевных возможностях. Мнение человека о самом себе — это всего лишь одно из мнений. Оно бывает порой настолько необъективным, что может быть приравнено к лжесвидетельству. Мою автобиографию можно считать не только чередой находок, потерь, иллюзий, разочарований, накоплением опыта и чем-то еще, но и растянувшейся на всю жизнь попыткой самопознания, что лишь частично отражено в этой книге».

В. Войнович

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-92185-0

© Войнович В., текст, 2017
© Ursula Voelkl, указатель, 2017
© Плотников В., фото автора на переплете, 2017
© Бердогин И., фото, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Предисловие

Намерение написать автобиографию развивалось во мне постепенно и вначале как ответ на попытки разных людей по недоброжелательству или неведению изобразить события моей жизни, мои побуждения, поступки и дела в желательном для них виде. Реакцией на подобные домыслы стали когда-то мои книги «Иванькиада» (1976), «Дело № 34840» (1992) и «Замысел» (1994). Однако в тех книгах я рассказал только об отдельных эпизодах своей жизни, а к полному жизнеописанию меня побудила газета «Новые известия», с которой я некоторое время плодотворно сотрудничал. Прервал я это сотрудничество, когда понял, что за заданным темпом не поспевал, и мои тексты не всегда совмещались с газетными возможностями: то не влезали, то были слишком короткими. Тем не менее я остался благодарен газете и ее главному редактору Валерию Якову, подвигнувшему меня на это сотрудничество.

В конце концов вот написал все, как было. Может быть, отдельные факты перепутал, но намеренно не врал. Изобразил ли я себя таким, каков есть на самом деле? Не знаю. Большинство людей имеют слабое представление о своей анатомии. А тем более о своих физических, умственных и душевных возможностях. Мнение человека о самом себе — это всего лишь одно из мнений. Оно бывает порой настолько необъективным, что может быть приравнено к лжесвидетельству. Но даже в том случае, когда человек к объективности более или менее честно стремится, его представление о себе вряд ли будет вполне адекватным. Потому что себя самого он знает лишь приблизительно и в большинстве случаев увеличить это знание даже не пытается.

Я пытался.

Лет с двадцати.

Поэтому мою биографию можно считать не только чередой находок, потерь, иллюзий, разочарований, накоплением опыта и чем-то еще, но и растянувшейся на всю жизнь попыткой самопознания, что лишь частично отражено в этой книге.

Часть первая

Сопrotивление материала

ВРАГ НАРОДА И МАЛОЛЕТНИЙ ВЛАДИМИР

Только прожив много лет, начинаешь всерьез понимать, что жизнь действительно коротка. Жаловаться мне вроде бы не пристало. От своей длинно-короткой жизни я получил гораздо больше того, чего ожидал вначале. Но, может быть, меньше того, на что был рассчитан. Потому что в начале жизни никаких талантов в себе не отмечал, да и родители мои ничего такого во мне тоже не видели. Мама, боясь, очевидно, впасть в распространенные родительские преувеличения, часто говорила: «Я знаю, что у моих детей (у меня и у младшей сестры Фаины) никаких особых способностей нет». Нет так нет, и я все детство и юность провел, ни к чему не стремясь, беря от жизни только то, что она мне подсовывала, не надеясь на сколько-нибудь интересное будущее. В известном анекдоте один человек спрашивает другого: «Рабинович, вы умеете играть на скрипке?» Ответ: «Не знаю, не пробовал». Ответ смешной, но не лишенный смысла. Для того, чтобы понять, можете ли вы играть на скрипке, надо хоть сколько-нибудь поучиться, попробовать. Меня в детстве не учили играть на скрипке, не водили на каток, не записывали в драмкружок, изостудию или в хоккейную секцию. И вообще судьба недодала мне кое-чего, обделенность чем я чувствовал всю жизнь. Учился я нормально только в первом классе, а потом еще два месяца в деревенской школе, три года в вечерней школе рабочей молодежи и из десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года ходил в педагогический институт за стипендией. Лекции посещал редко, а когда посещал, то слушал, но не слышал, — голова была занята другим. Из известных мне литераторов моего поколения, кажется, только Владимир Максимов учился еще меньше меня. Но заменой формальному образованию стал для меня тот жизненный опыт, который Горький назвал своими университетами. В этих университетах я научился пасти телят, запрягать лошадь, управлять волами, сторожить огород, а впоследствии овладел профессиями столяра, слесаря и авиамеханика и узнал о жизни много подробностей, неизвестных людям, окончившим нормальные учебные заведения.

Есть сложившееся мнение, что для любого писателя важна его душевная привязанность к тому, что называется малой родиной. Он может писать о чем-то, казалось бы, совершенно не связанном с его личной

биографией, но все равно за всем, что он пишет, маячат околица, или крылечко, или березка, или подъезд, соседи, школа, товарищи, любимая учительница. В моей памяти таких примет не сохранилось, потому что до двадцати четырех лет ни на одном месте я долго не задерживался и, только попав в Москву, осел в ней, за вычетом девяти лет эмиграции, можно сказать, навсегда. А до Москвы менялись города, деревни, гарнизоны, школы, соседи, товарищи, наречия, природа и ее дары. Урюк в Таджикистане, паслён в Ставрополе, брусника и клюква на кочках вологодского леса, вишня ведрами на запорожском базаре. Могилы родных тоже раскиданы. Один дед похоронен в Ленинабаде, другой — на Донбассе, одна бабушка — в Запорожье, другая — в городе Октябрьский в Башкирии, мама — в Орджоникидзе (не во Владикавказе, а в более чем захолустном городке Днепропетровской области), папа — в Керчи, сестра — в Запорожье, жена — в Мюнхене, дочь Марина — в Москве. На могилах дочери и жены я бываю регулярно, остальные не посещаю годами по недостатку возможностей, утешаясь тем, что после меня ухаживать за ними все равно будет некому и они запустеют. Сейчас или через десять лет — для вечности, в которой они пребывают и где я скоро к ним присоединюсь, разница небольшая. Да и что с моей могилой будет, меня мало волнует.

Но мне еще повезло. У меня были мать и отец, бабушки-дедушки, а с отцовской стороны известны даже очень отдаленные предки. А вот мой друг Миша Николаев вырос, не имея о родителях никакого представления. У него были причины думать, что их обоих в 37-м году расстреляли, но кто они были и хотя бы как их звали, он пытался узнать, но не узнал, и всю жизнь так и прожил под фамилией, данной ему в детдоме. В детдоме дорос до армии, из армии попал в лагерь и просидел около 20 лет. Потом Миша написал книгу про детдом и не знал, как назвать. Моя жена Ира посоветовала так и назвать: «Детдом», что он и сделал. А я ему советовал написать трилогию: «Детдом», «Дурдом» и «Заключение». Мише мой совет понравился, но воспользоваться им он не успел...

Однако вернусь к себе. Родился я 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, бывшем и будущем Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой, Николай Павлович, в то время работал в республиканской газете «Коммунист Таджикистана», в 1934 году был первым редактором областной газеты «Рабочий Ходжента» (впоследствии «Ленинабадская правда»). Мать моя, Роза Климентьевна Гойхман, работала с ним. Я обычно в автобиографии указываю, что мать была учительницей математики, но учительницей она стала позже... В 1936 году отец вернулся в газету «Коммунист Таджикистана» на должность ответственного секретаря. Летом того же года отца арестовали за, как было сказано, пр/пр (преступления), предусмотренные статьей 61 УК Таджикской ССР или 58/10 УК РСФСР — антисоветская агитация и пропаганда.

Забегу вперед. В феврале 1992 года я пытался добыть в КГБ мое дело об отравлении меня в 1975 году агентами госбезопасности в гостинице

«Метрополь» (об этом подробно в книге «Дело № 34840»). Дела не добыл, но, чтобы отвязаться от меня, гэбисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте (не знаю, как они там оказались!) и привезли в Москву две пожухлые, выгоревшие, облезлые, залапанные сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности.

У меня было слишком мало времени для изучения папок, поэтому первыми тремя обвиняемыми я интересовался не очень и сосредоточил все свое внимание на четвертом — Войновиче Николае Павловиче, бывшем члене ВКП (б), бывшем ответсекретаре газеты «Коммунист Таджикистана», ныне без определенного места жительства и определенных занятий, ранее не судимом, женатом, имеющем сына Владимира четырех лет. Изъятое при аресте имущество: трудовой список, разная переписка, 2 записные книжки, газета «Коммунист Таджикистана», № 158 36-го года, и квитанция № 43801 на вещи в камере хранения Казанского вокзала города Москвы. Насчет остального имущества в «Анкете арестованного» вопросы сформулированы так: «...7. Имущественное положение в момент ареста. (Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее.) Ответ: Нет. 8. То же до 1929 года. Нет. 9. То же до 1917 года. Нет». Не было имущества ни в момент ареста, ни до 29-го, ни до 17-го годов.

А что касается обвинения, так вот...

Тихим июньским вечером того же 1936 года в «ленинской комнате» воинской части сидели трое, пили чай, как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных сборов Когтин (в протоколе допроса указано: грамотный, образование «нисшее»), выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец (грамотный, образование 3 класса реального училища) с Когтиным согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела Заднев (грамотный, образование высшее), своего мнения не имел, но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер, о чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить «в соответствующие органы». Заднева работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями. Чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненароком травмированы. Я подобной заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен, у меня нет желания сводить счеты с Задневым, который вряд ли еще жив, и нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственны перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым потом, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней.

Что случилось с необразованным Когтиным, я не знаю, но отец был уволен с работы, арестован и причислен к группе таких же активных

контрреволюционеров и троцкистов, как сам. Всей группе из четырех человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности.

Дело номер 112 содержит два тома — 279 и 195 листов. Постановления, протоколы допросов и очных ставок, показания, собственноручно написанные и собственноручно подписанные. Там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа, но главное вот это: «контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране».

Отца арестовали в Москве, куда он ездил добиваться правды, оттуда перевезли по этапу из Москвы в Сталинабад, и полтора года, днем и ночью, люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос: «Следствие располагает данными, что вы, будучи на лагсборе в 1936 году, июнь месяц, среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма. Дайте следствию показания, от кого вами заимствованы эти формулировки». Вопрос задается бесконечное количество раз, и отец бесконечно отвечает: «Эти формулировки я ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения».

Изо дня в день, из ночи в ночь одно и то же: «Вы сказали, что не верите в построение коммунизма». А он каждый раз вносит в протокол уточнение: «полного коммунизма». Причем не вообще когда-нибудь, а в условиях капиталистического окружения. «Формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Виновным себя ни в чем не признаю. Может быть, стоило почитать кое-какие теоретические труды по этому поводу, но формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения, но в возможности построения неполного коммунизма не сомневался». — «А вот Заднев показывает, что вы говорили не о полном коммунизме, а о коммунизме вообще». — «Нет, я говорил только о полном коммунизме, а что касается Заднева, то он человек образованный, у него, как он сам всегда говорит, высшее философское образование, он мог бы нас с Когтиным поправить, но он этого почему-то не сделал». — «Вы говорили, что Литвинов троцкист?» — «Нет, я говорил, что Литвинов пьяница, но что троцкист, не говорил». — «На городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране...» — «Нет, на городской партийной конференции я говорил не о невозможности построения коммунизма вообще, а о невозможности построения полного в одной отдельно взятой стране в условиях капиталистического окружения».

Я спрашивал отца, пытали ли его, он говорил — нет, если не считать того, что допросы были намеренно изнуряющие — по ночам, с наведением на подследственного слепящего света.

В июне тридцать седьмого года следствие было закончено и передано в суд. Трое подсудимых признали свою вину, отец не признал. Чем начал, тем и кончил: «Виновным себя ни в чем не признаю». Тем не менее всех четверых готовили... к чему бы вы думали? Конечно же, к смертной казни. Но наступала первая перестройка, оттепель, либерализация, возвращение к ленинским нормам. Специальная коллегия Верховного суда Таджикистана заседала в январе 1938 года, как раз в те дни, когда в Москве проходил знаменитый январский Пленум ЦК ВКП(б), на котором было сказано о допущенных органами НКВД перегибах. Железный нарком Ежов был заменен еще не железным Берией. Началось (хорошая формулировка того времени) **разберивание**, в результате которого выяснилось, что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки. В Москве аукнулось, в Душанбе откликнулось: четверем преступникам, высказавшим где-то кому-то какие-то мысли, был определен срок заключения: троим, признавшимся в своих преступлениях, — по десять лет лагерей, а отцу, непризнавшемуся, — всего лишь пять.

При вынесении отцу приговора суд учел смягчающие его вину обстоятельства (возможность построения коммунизма подсудимый отрицал лишь частично), а также низкий образовательный уровень подсудимого, наличие у него малолетнего сына Владимира и руководствуясь «революционным правосознанием и принципами пролетарского гуманизма».

Подсудимый, превратившись в осужденного, поехал на Дальний Восток, а малолетний Владимир остался с мамой, бабушкой Эней Вольфовной и дедушкой Климентом (это имя было переименовано на русский лад из Колмана, а отчества дедушки я не знал и до сих пор не знаю). Вскоре после ареста отца вместе с перечисленной родней Владимир переехал в город Ленинабад, где по будням посещал детский сад, учил буквы по плакату «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», а в выходные дни ходил с бабушкой в женскую баню.

Не знаю, когда у отца наступило прозрение, до или после ареста, но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом: «Там, за этой тюремной стеною, твоя жизнь безнадежно черней».

ХОДЖЕНТ

Не веря во врожденные способности своих детей, мама не верила и в отдельные их проявления. И, очевидно, поэтому с видимым раздражением относилась к моим словам о том, что я помню, как мы в моем раннем детстве попали в автомобильную аварию (по-нынешнему ДТП).

— Ты никак не можешь этого помнить, — говорила она сердито, — тебе тогда не было и трех лет.

На мой вопрос, откуда же я тогда знаю то, о чем говорю, она никакого подходящего ответа не находила, но соглашалась, что такая авария имела место. Мы ехали в открытой легковой машине, шофер Борисенко

притормаживал на поворотах и сигналил, но встречный автомобиль выскочил на полном ходу из-за скалы. От удара нашу легковушку отбросило, и мы чуть не опрокинулись в пропасть, а ударившая нас машина, не остановившись, умчалась. Подробностей я, конечно, не помню, но память сохранила удар и облако пыли.

Мне мои самые ранние воспоминания после аварии легко приблизительно датировать, деля их на две половины. Первая половина, до лета 1936 года, была прожита в Душанбе, как раз перед моим рождением переименованном в Сталинабад, а вторая, до мая 1941 года, протекла в Ходженте, переименованном в Ленинабад непосредственно накануне нашего туда переезда.

Из жизни в Сталинабаде я вывез постепенно угасающее воспоминание о няньке тете Зине и тряпичной кукле, названной в ее честь тоже Зиной. И еще — как меня снимали на редакционном балконе газеты «Коммунист Таджикистана». Фотограф, суя голову в черный мешок, обещал, что из объектива вылетит птичка, и я был очень огорчен, что птичкиного вылета не заметил, и даже хотел не из тщеславия, а исключительно ради птички, надеясь на этот раз не проморгать, сняться второй раз, но второго раза не случилось. Фотография была сделана до ареста отца, значит, не позже весны 1936-го, то есть мне было, примерно, три с половиной года.

От той неувиденной птички сохранился большой снимок лобастого мальчика в матросской курточке, держащего в руках журнал «Пионер» с фотографией рыболова на обложке. На том балконе мне удалось еще раз поохотиться за птичкой шестьдесят восемь лет спустя, когда я с журналистом Олегом Панфиловым навестил свою родину по случаю семидесятилетия газеты «Ленинабадская правда» (так был переименован «Рабочий Ходжента», и новое название сохранилось поныне).

Из душанбинского детства запомнились мне редкие катания с отцом на велосипеде, не очень удобный, но ни с чем не сравнимый способ передвижения на раме. А еще поездки с уже упомянутым редакционным шофером Борисенко в открытом автомобиле. Ветер бил в лицо, сзади струилась пыль, а шофер тешил меня и себя песней: «Эх, яблочко, куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься».

Вспоминается и такое: я перехожу дорогу, а на меня надвигается большой, красивый, коричневый, лакированный, страшный «ЗИС-101» со сверкающим никелем радиатором, огромными фарами, и я знаю, что в этом «ЗИСе» едет злой человек, враг народа Абдулло Рахимбаев. Он ездит специально, чтобы давить маленьких детей, и меня он тоже хочет задавить.

Тут в виде одного воспоминания выступают два, слившихся воедино. Должно быть, я видел машину, она меня восхитила и напугала, когда ее пассажир был еще не врагом народа, а председателем Совета народных комиссаров республики. Но потом он стал врагом народа, и тогда мне стало ясно, для чего он ездил по улицам на своем коричневом «ЗИСе».

Тогда Ходжент оставался почти таким, каким был и за тысячу лет до того, — одноэтажным, с грязными арыками, пыльными тополями и толстыми акациями, которые, как почтительно утверждало предание, были посажены Александром Македонским. И ничего удивительного: город и при мне жил, как до нашей эры.

Что-то и из новых времен там уже было. Железная дорога, редкие автомобили и бипланы «У-2», при появлении которых дети приходили в радостное возбуждение и выкрикивали что-то вроде обращенной к небу считалки: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман. А в кармане пусто, выросла капуста...» — и дальше в том же духе. А на земле основными приметамы пыльных улиц, дворов и базаров оставались верблюды, волы, ослы, бездомные собаки, слепой с лицом, побитым оспой, прокаженный с колокольчиком на шее, чайхана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджички с лицами, закрытыми паранджой из конского волоса.

Из обуви помнятся ичиги — мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошв, и галоши, блестящие, с красной ворсистой подкладкой и пупыристыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами, победнее — носили ичиги без галош, еще беднее — галоши без ичигов, а совсем бедные не имели ни ичигов, ни галош.

Это было время, когда люди ездили в пролетках и фаэтонах, белье стирали на ребристых стиральных досках, его же колотили толстыми рубчатými кусками дерева и полоскали в реке. В чугунных утюгах с зубастыми крышками, какие теперь можно видеть только в музеях, раздували древесный уголь, простуженное горло полоскали керосином, а зубы драли так, что слышно было в другом квартале. Мелкие торговцы развозили по дворам на ишаках жвачки: кусок вара — пять копеек, кусок парафина — десять. На тех же ишаках прибывали к нам во двор восточные сладости: петушки, тянучки и самое вкусное блюдо на свете — что-то сбитое, кажется, из яичных белков с сахаром и еще с чем-то, белое, как снег, густое, как тесто, и сладкое, как сама сладость, под таджикским названием мишоло, переназванным русскими в мешалду.

На ишаках же, иногда запряженных в двухколесные тележки (а чаще в мешках, перекинутых через спину), возили молоко, уголь, дрова, да чего только не возили! На ишаке привезли нашему соседу, начальнику НКВД Комарову, мотоцикл, упакованный в деревянный ящик со стружками. На ишаках с зазывными криками разъезжали точильщики ножей и ножниц, лудильщики кастрюль и старьевщики.

Наша улица тянулась вдоль берега реки Сырдарьи и называлась Набережная. Между улицей и берегом была еще булыжная мостовая (с арыками по обе стороны), за ней луг, а уж за ним река, отгороженная от луга насыпной дамбой против наводнений. Берег был песчаный, пологий, там женщины купались в трикотажных рейтузах с резинками под коленями и в полотняных стеганых лифчиках, а мужчины либо в кальсонах, либо совсем нагишом — входя в воду или выходя, прикрывали причинное место ладонями. А на лугу, готовясь к битвам с мировым

империализмом, тренировались кавалеристы в фуражках с опущенными под подбородок ремешками. Они скакали на лошадях, преодолевали препятствия и рубили лозу, взмахивая длинными, сверкающими на солнце шашками.

Мир, повторю, в целом оставался таким, каким был и при Александре Македонском. Мощностъ армии все еще измерялась количеством штыков или сабель. И в этой стране одержимые безумной идеей люди намеревались завоевать весь мир и путем насилия создать самое справедливое и процветающее общество.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Не знаю, устроено ли это было намеренно, но в той части Ходжента, где обитала наша семья, жили исключительно русские. Таджиков я воспринимал как иностранцев и встречал только за пределами этой части, не считая моей подружки Гали Салибаевой, а также мелких торговцев, нищих, сумасшедших и прокаженных, которые иногда забредали и к нам.

С Галей я дружил, и очень тесно. Мы ходили всегда вместе, взявшись за руки, она в таджикском шелковом платье с разноцветными расплывчатыми узорами, а я в коротких штанишках со шлейками и поперечными перемычками, в длинных чулках в рубчик, которые прикреплялись к ноге одним из двух одинаково неприятных способов. Либо резинкой, натягиваемой на ногу чуть выше колена, либо с помощью специального пояса вроде того, что носили когда-то женщины, с резинками и застежками. Первый способ был неудобен тем, что резинка постоянно съезжала и падала вниз, к шиколотке, а за нею туда же соскальзывал и чулок, второй же способ постоянно напоминал мальчику, что он еще не вполне полноценное существо и на него можно натягивать что кому вздумается, в том числе и предметы женского туалета.

Когда мы с Галей куда-нибудь шли, мальчишки из нашего и других дворов подбегали, загораживали нам дорогу, приплясывали, корчили рожи и выкрикивали: «Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла. Жених плакал, плакал и в штаны накакал». Я огорчался, иногда даже готов был кинуться на дразнильщиков с кулаками, но Галя меня удерживала, утешала и обещала: «Когда ты вырастешь большой, я на тебе женюсь, а когда ты будешь старенький, я буду давать тебе таблетки и порошки и греть грелку».

В детском саду, под транспарантом с благодарностью товарищу Сталину, располагался большой портрет товарища Сталина, который держал на руках девочку, сам смеялся и смешил ее, щекоча ее правую щеку своим левым усом. Эта девочка-таджичка по имени Мамлакат, похожая на Галю, была немногим старше нас, но уже широко прославилась тем, что первая в мире догадалась убирать хлопок двумя руками,

а не одной. Воспитательница тетя Паня рассказывала нам, что Мамлакат, достигнув очень больших успехов в уборке хлопка, была приглашена в Москву, в Кремль, где дедушка Калинин лично вручил ей орден Ленина, а Сталин поднял ее на руки.

Глядя на портрет, я завидовал, огорчился и думал, что, если бы меня послали на хлопок, я бы не хуже Мамлакат догадался убирать его двумя руками. Ведь додумался же я своим умом, что, если буквы, которым меня научила бабушка, приставлять одну к другой, из них сложатся слова. И с радостью убедился, что прав, прочтя то, что написано на транспаранте, название газеты «Известия» и вывеску «Продовольственный магазин». Так что я тоже не самый глупый мальчик и до двух рук сам бы непременно додумался. И тогда Сталин меня тоже поднял бы на руки.

ТЕТЯ ПАНЯ

По праздникам — 23 февраля, 1 мая и 7 ноября — к нам в детсад приводили кавалериста со шпорами на сапогах и с длинной саблей на боку. Он рассказывал нам о героической истории Красной Армии, о боях с коварными басмачами и давал потрогать саблю, впрочем, не вынимая из ножен. Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей: о втором съезде РКП (б), о взятии Зимнего дворца, о коварных происках троцкистско-бухаринской оппозиции, и только наша воспитательница тетя Паня читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков.

Тетя Паня, как я заметил, почему-то отличала меня от других и иногда во время обеда сажала за стол рядом с собой. Раза два или три она с разрешения мамы забирала меня на выходные дни к себе домой, где жила вместе со своей матерью. Там обе женщины развлекали меня и готовили мне обед, усаживали меня за стол, как взрослого, вернувшегося с тяжелой работы мужчину, и смотрели с умилением, как я ем.

Только став взрослым, я понял, что тетя Паня и ее мать жалели меня, потому что я жил без папы. Они, вероятно, знали, где был мой папа и почему.

ЕЩЕ О ГАЛЕ

Галю Салибаеву, свою подружку раннего детства, я помнил всю жизнь, и лет через тридцать с лишним после того, как мы расстались (а тогда нам было по восемь лет), был рад узнать, что и она меня не забыла. В семьдесят каком-то году мой друг Камил Икрамов (он еще не раз появится на этих страницах) зашел ко мне перед очередной поездкой в Среднюю Азию. Обычно он ездил на родину своего отца в Узбекистан, но на этот раз собирался по каким-то делам завернуть и в столицу соседней республики Душанбе. Я к нему обратился с нелепой на первый взгляд просьбой — найти некую Галю Салибаеву.